Pour Nelly…

Женщина, которая не может или не желает сносить естественно и без жалоб условия ее услужения, заслуживает того, что случилось со мной.

Запись из дневника Элейн,
февраль 1956 года

1

Ноябрь 1955 года

Стоя на Хемлок-стрит, 1100, Элейн думает: вот я на дороге перед своим домом — нашим домом, что я каждый день с любовью обновляю для мужа и сына, которых я люблю… Но неужели это… все? Ее глаза поднимаются от коричневого конверта в руке к открытому почтовому ящику, откуда она его только что достала, — и опускаются обратно: Что толку открывать одно или закрывать другое, если оплачивать этот счет нечем — как и любой другой, что уже мчится за ним вслед.

Элейн не смеет поднять взгляд — но уже ближайшее окружение кажется ей мучительной бездной: пустой участок напротив дома *кишит зеленью* — зловещими волнениями. Шепчет что-то на бодрящем ветру провод над головой — длинный, провисший между столбами. За редкими кустами и отдельными деревьями уходит вниз склон, и там она скорее чувствует, чем видит, озеро.

Билли обожает рассказывать о глубине озера Каюга да сколько в нем миллионов литров прес-

ной воды. Его матери не хочется это слышать — для нее оно просто холодное… *и бездонное*: Эгейское море, откуда ни одному Одиссею не вернуться в свою Итаку… *и к своей Пенелопе*. А наверху? Не *просто небо*, а метафизическое царство, в котором падение мужчины переворачивается, чтобы стать… *взлетом женщины*. Она нащупывает через подошвы тапочек стыки между кирпичами, которыми вымощена дорога, — и призывает в памяти шелковистое касание речных песков в давних летних лагерях: *Шаг чеканит и поет, девчонка из "Кэмп файр"*[1] *вдаль иде-ет …*

Если бы — если бы у нее были худые и гибкие пальцы ног, она бы надежно вцепилась ими в землю. Но таких нет — и она не может, и небо втягивает ее вверх: она чувствует, как изворачивается тело, когда она с помощью вскруженного разума уносится в стылые небеса.

Ты уже не играешь на детских площадках в облаках, упрекает она себя: ты не в Огайо — и даже не в Нью-Йорке и не в Вермонте, а похоронена заживо в пригороде на севере Нью-Йорка, откуда выход лишь один… *еще выше*.

Может, и домишко взлетит вместе с ней — вот эта деревянная камера, где она заточена. Камера миленькая, по крайней мере снаружи — но что в том проку? Цвета камеры не видно, если день-деньской сидишь в ней взаперти. И вдруг она взвывает: И это все? Это, сука, все?!

1 *Camp Fire* (осн. 1910) — первая в США нерелигиозная организация для девочек, ее участники носят зеленые галстуки и занимаются всем тем же, чем бойскауты или пионеры: походы, общественные работы и т. д. *Здесь и далее прим. перев.*

Непристойность, думает Элейн, — это волосатая нога, которую муж сунул ей между ног в прошлый раз, когда хотел… *взять меня.* А потом держался за нее — хотя явно не для надежности, ведь надежности не найти в зыбучих песках ее несчастного бытия. *И это все?..* Более того, относится ли "это" все к одному и тому же предмету: ее жизни, полной того, что нужно протереть, обмахнуть и привести в порядок. Заплести, взбить и *дать?..*

Нет толку говорить об этом — но она все равно говорит, теперь вслух, и от полной пачки, выкуренной вчера, плюс четырех-пяти сигарет уже с утра голос ее — между хрипом и криком: Неужели… пик успеха… для меня… это выполнять работу… домохозяйки?

Ее слова — уже *сырые и серые* — воспаряют в осеннее небо. В этот самый миг к своему почтовому ящику выходит Эвелин Тейт, которая проживает в пятидесяти ярдах дальше по улице и которую — безо всяких на то оснований, не считая того, что она крашеная блондинка и носит такие блузки, — Элейн считает за распущенную. Та открывает ящик и достает манильский конверт с прозрачным окошком: …*ее собственный просроченный счет*, — потом чуть склоняется в сторону Элейн, бледные губы складываются в форму, которая ассоциируется со словом *привет*.

Очевидно, меня она не слышала.

И тогда Элейн повторяет: Неужели… пик успеха для меня… это выполнять… в-выполнять… работу д-домохозяйки?

Истерика нарастает — и, когда хлопает сетчатая дверь в доме Эвелин Тейт, Элейн повторяет в третий раз: Нежели… пик успеха… для меня… это выполнять свою работу домохозяйки? Каждый отрывок отделен тяжелым вздохом — но неважно, быстро ли она лепечет и глубоко ли дышит, паника ее уже одолела: Сейчас упаду в обморок, думает она, а потом меня вознесет в небо, и чертова ночнушка сползет до плеч… И в последний раз меня увидят так же, как в первый: с голым задом, в ожидании шлепка.

Из какого-то прилежного и неважного уголка мозга ползет-выползает такая паучья мысль: *Великий комплекс ассоциаций, необходимых для исцеления травмы, утратил свою силу…*

И когда мысль прячется в щелку внутри нее, Элейн оказывается в том, что они называют передней комнатой, и в тысячный раз думает: называли бы салоном, если бы могли поддерживать такой уровень претензий, или жилой, если бы они отказались от всех притязаний на лучшую жизнь.

Ее взгляд мечется по затасканным декорациям, внутри которых они разыгрывают свои бессмысленные сценки: вышивка бисером Билли лежит на розовом кожаном пуфе, что они таскают с собой с самого Мадисона. Элейн помнит, как его покупали в комиссионке у зоопарка, куда они с Джоном ходили смотреть барсуков — потому, что раньше еще их не видели и даже не представляли, как они выглядят, и потому, что символом университета был барсук…

Выглядели они чертовски уныло в своей пустой холодной клетке — а вот пуф, который Джон затем купил, чтобы поднять ей настроение, скоро стал хранилищем его заметок теми вечерами, когда он садился работать в мягкое кресло рядом. Стал и до сих пор остается — и, всматриваясь в неразборчивый почерк, Элейн думает: как это забавно, что он уже так долго увлечен эпической поэмой, написанной триста лет тому назад, — поэмой, где повествуется о великой битве Бога и Сатаны во всем космосе за самую душу человечества, — тогда как здесь в его собственный двор… *заполз змей.*

Существа скользкие… мелкие… волосатые — быстрые и непредсказуемые в движениях. В лучшем случае действуют вслепую, в худшем — нарочно целятся в глаза, рот, волосы… *внизу*. Если метафоры — это выдумки, то *поэзия — делирий…*

Что забавно, да — но забавно в смысле "любопытно", а не в смысле "ха-ха".

Ха-ха! У Элейн рвется горький смех, *горький, как коровья жвачка…* бедная домашняя корова жует, прибираясь по дому.

Элейн берет бисер и убирает в красочную мексиканскую чашу, которую Джон купил ей в Покипси в тот день, когда они возвращались на машине из Нью-Йорка и у нее случился такой *crise de nerfs*[1], что ему пришлось остановиться на главной улице и, тоже в откровенной панике, расспрашивать первого встречного, а потом и еще нескольких, чтобы выведать имя и адрес местного врача.

1 Нервный срыв *(фр.)*.

Элейн помнит, как свернулась калачиком и всхлипывала под приборной доской, с каким трудом мужу пришлось ее оттуда извлекать. Помнит она и приемную врача — которая была семейной гостиной… *уже больше одного поколения:* в углу ей отчетливо цокали языком напольные часы; на полосатых тисненых обоях висели желтеющие гравюры меццо-тинто, в облезающий ворс диванной бархатной обшивки вплелась кошачья шерсть. Это ее успокоило: чтобы вылечить распущенную бабу, нужен муж такой же неряхи.

Когда через несколько минут вошел врач, прервав свой обед и аккуратно утирая пухлые руки льняной салфеткой с монограммой, он уже начал нравиться Элейн. Звали его Розенблюм…

…и она, съежившись всем высоким телом в маленькое кожаное кресло, прорыдала обо всем — вскидывала к нему страшное лицо от своих страшных кулачков, рвала свои страшные каштановые кудри, — пока врач не взял ее за руки твердо, но с силой, и… *я разом сдулась.*

Там гоняли мяч дети на пустой площадке за домом — впечатляющей старинной махиной: флероны и флюгер-петушок поверх башенок поверх эркеров поверх веранд. В любое другое время Элейн бы откололa остроту в духе, скажем: Добрый народ Покипси явно болен, раз готов вам платить, — но явно не настолько болен, раз может платить столько!..

Как и говорят люди, когда они нормальны и нормально общаются.

Элейн помнит, как под открытым окном хрипел стерилизатор, пуская облачка пара, которые

мешались с детскими криками. Когда доктор Розенблюм закатил рукав ее блузки, чтобы сделать укол, Элейн вновь сомлела от нежности его прикосновения.

Он начал: Вы регулярно принимаете милтаун, верно, миссис Хэнкок? В таком случае вам, пожалуй, лучше отложить его на денек-другой — это довольно сильное средство…

Успокоенная, убаюканная, Элейн плелась позади мужа, пока они подыскивали какой-нибудь сувенир в память об этом странном случае: *Красно-желтая мексиканская чаша? О, мои родители покупали такую же в честь завершения истерического припадка моей мамы…*

Прием доктора Розенблюма обошелся в четыре доллара, чаша — еще в два пятьдесят. После пары чашек кофе с сэндвичами незапланированная остановка стоила им около десяти долларов… *и мы, как водится, не могли себе этого позволить*, и поэтому, вернувшись в "бьюик", Джон рявкнул:

В следующий раз бери чертовы таблетки с собой, поняла?

Стоя в их гостиной полтора года спустя, Элейн смотрит на лежащий в чаше нанизанный бисер сына и горько размышляет: У меня ничем не выдающаяся семья, и сомневаюсь, что сама смогу чем-то отличиться. А родители — все лишние силы, какие у них оставались, расходовались на стирание своих отличий вместе с еврейским наследием — прямо как когда домохозяйка берется за гадкие бурые пятна в чертовой кастрюле…

Гадкие бурые пятна в кастрюле. На кухне ждут кастрюли — те самые, с гадкими бурыми пятнами.

А еще миски с кукурузными хлопьями, зацементированными сахаром, — и не будем забывать о кофейных чашках с засохшей вонючей гущей. Это что, проклятье? — думает Элейн — и потом, после недолгих подсчетов: Если и проклятье, то еще слишком рано… *для красных гадких пятен в медицинском лотке.*

Откуда-то выходит с важным видом кошка Карма — Элейн даже в панике видит неотъемлемую красоту животного. Ведь в том-то и суть, верно же: Элейн видит, но как ее описать? Как описать что угодно, кроме самой себя, что ей уже осточертела?

Кошка — маленькая и пестрая и четко выгравирована в солнечном свете осеннего утра, что падает под пологим углом из восточного окна: можно различить каждый волосок. *Четко выгравирована…* вот в чем вечная беда Элейн: может ввернуть красное словцо не хуже, чем отколоть остроту, но сложить эти фразочки в сладкозвучную прозу ей уже не по силам: стоит только сесть с пером в руке — и не иначе как некий призрачный коллега доктора Розенблюма накачивает ее мозг новокаином, и все тут же делается оцепенелым и нелепым лепетом.

Мало того, вдобавок между саднящими глазами и страницей плывут нелепые сцены из детства, высмеивающие ее претензии: в возрасте двух лет… *или трех* Элейн взяла в привычку устраивать жидкие протесты: поднимать лоскутный коврик у себя в спальне и писать под него. И кажется, делала она так часто; полное безумие. Хотя, разумеется, это в прошлом… *теперь это работа Кармы…* и, может, котенка.

Они так налакались на посиделках у Хаксакеров в субботу вечером, что легли в постель с давней полупустой бутылкой вина, месяцами пылившейся в углу чулана. Наутро ее опрокинула босая нога Элейн в поисках тапочка, и остатки разлились под кроватью. Когда она встала на четвереньки, чтобы оттереть лужу, нашла там же скопление кошачьих какашек — ровно посередине, словно коварная сучка нарочно решила доказать, как плохо хозяйка следит за домом.

Ночью Элейн выкрикнула имя Теда — и той же ночью при ее хмельном и онемелом соучастии ее взял Джон, — но первое случилось не из-за последнего. Она слишком налакалась для притворства — а было бы притворством делать вид, будто ее до того состояния довели его ласки. Нет, оргазма не было — и нет никогда: лишь примитивное животное облегчение.

А что тут дурного? Они животные — и им нужно облегчение, и они наловчились если не ублажать друг друга, то хотя бы приносить этот драгоценный дар. Были и ссоры, и свары, сцементированные вместе пререканиями такими непрерывными, что они текут потоком; зато, думает Элейн, они неплохо держатся вместе — и кто знает? Без настоящих измен, не считая ее и Теда, они смогут продолжить в том же духе — ради Билли, если не ради себя.

Впрочем, то была дневная мудрость: во сне она предавала и себя, и мужа — который уже сидел на кровати, когда она вернулась, смыв в унитаз какашки Кармы. Сидел и натягивал майку, чем показывал, что распущен так же, как… *я.* Пижамные

штаны надевает в каком угодно состоянии, но о своей верхней половине не беспокоится. А ведь она была небрита, неприятно воняла потом и еще неприятнее — перегаром, но в то же время излучала лукавое удовлетворение — от того, что он рассказал ей о ее… *непроизвольном возгласе.*

Элейн знает, что само существование Теда для него унизительно не меньше страсти Элейн к Теду. Она предполагает, то, что Джон приналег на выпивку и перестал следить за собой, — это все часть некоего его идеала рабочего класса: маска мужика, в которой он покажется больше и круче Теда, — и этим же объясняется, почему он трахался, расстегнув только ширинку своей пижамы. А это, в свою очередь, объясняет, почему она не заметила никакого пыла — хоть и сама напилась, — а лишь желание вести себя по-рабочему: *достать прибор — вставить…* В конце концов, для работы вполне логично использовать… *прибор* — или любой другой инструмент для трудов по дому, что *он обычно очень любит…*

Далеко не в первый раз, представляя себя лишь вместилищем для мужа, Элейн сначала содрогается, а потом рассыпается: дает ногам подломиться и падает коленями на пуф. Видит себя саму со вставшим пенисом, который поливает бежевые стены гостиной непристойностями: *жопа, говно, хрен, манда…* потому что только эти слова… *я могу дать свободно.*

Стоит ей закончить все необходимые приготовления — определиться с идеей, составить план повествования, набросать портреты персонажей, а также собрать все необходимые материалы —

ручки и карандаши, блокнот и пишущую машинку, бумагу и копирку, — стоит ей начать, как все безнадежно заволакивает туман, словно ей в глаза и в комнату накачивают густой дым или газ, и незамаранная страница вымарывается из сознания.

А если упереться? Нет лучше слов описать, как никчемны и банальны ее пробы пера… *чем мои собственные.* Только на прошлой неделе она пыталась вновь, начала рассказ о девушке, закрутившей на Манхэттене роман с таинственным незнакомцем… Но, перечитав первую пару страниц, пришла в ужас: рассказ хуже чем банален — в нем и сюжета толком не было, лишь слабое указание на ее собственное… *прошлое, жалкое и жалобное.*

До того, где-то месяц назад, ее переполнила смелость написать что-нибудь на основе биографии композитора Телемана, потому что она услышала его великолепное произведение по радио WQXR. Но что Элейн знала о Телемане или его времени? Ровным счетом ничего — и теперь, вспоминая, какая глупая каша у нее получилась из описания Гамбурга XIX века, она думает: Почему же я не зашла дальше и не описала, как он *трахается, не снимая пижамы…*

Глупая каша? Нет: выкидыш — да такой, что несчастная корова мутно смотрит на зародыш и послед, слипшиеся вместе… *в луговой траве.* Вот о чем, пожалуй, надо было писать — по крайней мере, это скорбное зрелище она видела своими глазами. Тем летом на востоке Ямайки, где они жили у Кена Дюранта, когда они с Джоном по очереди шептались со старшим мужчиной — хоть и на разные темы.

В самый жаркий день августа Дюрант взял ее с собой, чтобы осмотреть заросший участок и развалюхи, которые он подумывал переделать в летний лагерь для малолетних преступников из бостонских трущоб. Элейн стояла, чувствуя, как меж бедер стекает пот, и сложив руки на груди, чтобы спрятать темные пятна, расползающиеся из-под мышек по красному гринсбону блузки, и была уверена как никогда, что он вот-вот полезет к ней, — но этого так и не случилось.

Он просто стоял в светло-коричневой траве по колено, а у шеи и подмышек его собственной пропотевшей футболки порхали живые кружева капустниц. Стоял неподвижно — несмотря на стаи мух, ведь всего в нескольких шагах от них, *на леденящем жаре солнца*, были корова с ее выкидышем. Кен объяснял, как это необычно для скота — выкинуть в такое время года, а Элейн думала: *Бедная корова.*

Лето в любом случае выдалось для Хэнкоков необычным: Элейн распирало от разнообразных невоплощенных страстей, что находили на нее внезапно и ощущались физически — коликами *у меня в животе… в груди…* Билли тогда был белобрысым двухлетним мальчишкой, гибким, как обезьянка, и нескончаемыми душными днями лежал рядом с ней на том диване, где всего восемь месяцев назад скончалась Женевьева Таггард[1], и слушал с ней встречи-саммиты двух держав в соседней комнате — Джона и Кена.

Они говорили — весьма выспренно — о том, что можно говорить, а что — писать в нынешние

1 Женевьева Таггард (1894–1948) — американская поэтесса, критик и общественный деятель с социалистическими убеждениями.

времена, когда лица американских активистов топчут сапогами. Даже тогда — и даже в беседах с таким человеком, как Дюрант, намного старше, намного мудрее, — тон Джона, который Элейн улавливает с идеальным слухом — *хоть я, подобно Телеману, самоучка*, — был едким, едва ли не насмешливым. Хоть и маскировался его озадаченным и любопытным выражением лица — которое его жена тоже знала… *слишком хорошо*.

Билли было почти невозможно уложить. Он все возился у нее в руках, вырывался, чтобы пронзить ее своими глазами — голубее голубого. Потом однажды днем, когда он наконец провалился в беспокойный сон, она высвободилась из него, отлепилась от кожаной шкуры старой лежанки и достала матерчатую сумку, спрятанную на книжной полке за рядом городских справочников, — ведь раньше там был кабинет Женевьевы.

Она делала вид… *я делала вид*, будто содержимое сумки — эти скучные, коричневые тетради упражнений в твердых обложках — *принадлежало ей…* покойной жене их хозяина; знаменитой поэтессе. Затем, вцепившись в этот кладезь сочинений, ее посмертная гостья тихонько и босоного ушла наверх, в закрытую и затхлую спальню, где на подоконниках лежали лапками кверху дохлые мухи. Стоя на коленях на теплых половицах перед стылым камином с железной решеткой, Элейн сначала рвала, а потом бросала в маленькое трепещущее пламя, которое она разожгла, страницу за страницей, исписанные ее собственным слитным почерком, стараясь удержать ту самую иллюзию — а с ней и веру, будто, уничтожая записи